



НИНА ФЁДОРОВА

ЖИЗНЬ

ВСЕ ТЕЧЁТ



Нина Федорова

Жизнь. Книга 1. Все течет

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41991498

Жизнь. Книга 1. Все течет: Издательство «Сатисъ»; СПб.; 2018

ISBN 978-5-7868-0016-7

Аннотация

Фёдорова Нина (Антонина Ивановна Подгорина) родилась в 1895 году в г. Лохвица Полтавской губернии. Детство её прошло в Верхнеудинске, в Забайкалье. Окончила историко-филологическое отделение Бестужевских женских курсов в Петербурге. После революции покинула Россию и уехала в Харбин. В 1923 году вышла замуж за историка и культуролога В. Рязановского. Её сыновья, Николай и Александр тоже стали историками. В 1936 году семья переехала в Тяньцзинь, в 1938 году – в США. Наибольшую известность приобрёл роман Н. Фёдоровой «Семья», вышедший в 1940 году на английском языке. В авторском переводе на русский язык роман были издан в 1952 году нью-йоркским издательством им. Чехова. Роман, посвящённый истории жизни русских эмигрантов в Тяньцзине, проблеме отцов и детей, был хорошо принят критикой русской эмиграции. В 1958 году во Франкфурте-на-Майне вышло его продолжение – Дети». В 1964–1966 годах в Вашингтоне вышла

первая часть её трилогии «Жизнь». В 1964 году в Сан-Паулу была издана книга «Театр для детей».

Почти до конца жизни писала романы и преподавала в университете штата Орегон. Умерла в Окленде в 1985 году.

Вашему вниманию предлагается первая книга трилогии Нины Фёдоровой «Жизнь».

Содержание

Глава I	6
Глава II	19
Глава III	35
Глава IV	55
Глава V	69
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Нина Фёдорова

Жизнь. Книга 1. Все течет

© Н. Федорова, текст, 1964

© Издательство «Сатись», 2018

Глава I

Всё течёт.
Гераклит

И каждый день уносит частицу бытия.
Пушкин

Все реки мира прекрасны. Но в этой реке, небольшой и неглубокой, таилось особое очарование. Она расстилалась спокойно по ровному полю, плавно уходя вдаль под низким опаловым небом. Она увлекала за собою мысль человека. Она погружала его в раздумье. Она, казалось, шептала: «Ближе. Сюда. Ко мне. Дай душе твоей отдых. Пусть печали оставят тебя. Дели со мною сладость покоя. Отсюда благоустроенным кажется мир и полным счастья. О, не быть человеком! Не думать. Есть и иные, и лучшие формы бытия. Быть только водой, простым элементом природы, одной из начальных форм жизни. Взгляни: вода, волна, пар, туман. Гляди: я поднимаюсь легко и всё выше. Я – облако». Но едва успев принять форму, облако тает. Его нет уже, и за ним нет ничего. Всё, что было или казалось, – исчезнувшая тень прошедшей жизни. И уходя всё дальше, река шептала: «Прощай. Прощай. Мне жаль тебя, человек!» Был радостно-свежий час августовского раннеосеннего утра. На плоту, укрепленном у берега, прачки полоскали бельё. Спеша с работой,

они трудились молча. Суббота – тяжёлый день в жизни прачки. Беседы отложены до понедельника.

Маленькие городские птички, те, что «не знают ни заботы, ни труда», порхали облачком над бельём, над плотом, у берега. Это были,

конечно, воробышки. Чириканьем они выражали своё любопытство и удивление. Они наблюдали за непонятной для них работой людей и делились между собой своими птичьими впечатлениями.

Издалека то и дело доносился густой и глубокий звук, словно тяжкий вздох великана, словно самый голос труда. Это вздыхала электрическая станция города, как бы жалуясь и в то же время похваляясь выполняемой трудной задачей. Этот голос кричал: «Я скован! Человек – раб своих научных открытий!» И затем, смиряясь, на конечной низкой ноте посылал труду своё благословение: «Да будет!»

Небольшая лодочка плыла вниз по течению. В ней было двое: у руля учитель классических языков и чистописания и молоденькая темноволосая девушка – с веслом. Она только что окончила гимназию, была полна самых дерзких мечтаний и планов и в этот час выглядела рассеянной. Он же был глубоко озабочен. Это он был влюблён, не она. Это был час, предназначенный им для объяснений. Давно были готовы фразы, как лучше предложить своё – увы! – давно пожилое сердце и свою – увы! – почти нищую руку. Невозможно откладывать: жизнь коротка, ему уже за сорок лет, девушка

умна и прекрасна. Но она собирается в столицу, на медицинские курсы – надо спешить. А он сидел и молчал.

Но и случай был не из лёгких. Односторонний, жалкий роман, предмет комедии. Будь он не собственный, как можно было бы о нём рассказать и посмеяться. Представьте! Старый учитель влюблён в свою молоденькую ученицу! Больше того: некрасивый учитель, без таланта и бедный, неудачник, конечно, и влюблён в юную красавицу – весёлую, здоровую, богатую, задорную, полную боевых планов, окружённую молодыми друзьями! Ей открывается блестящая жизнь. Она никогда, никаким образом не дала и намёка на какой-либо интерес по отношению к этому учителю, больше того, она презирает учителей классических гимназий, всех вообще: и как класс, и как профессию. А он ждёт от неё согласия на брак! Здесь – смейтесь!

Но как блестяще она выдержала выпускной экзамен по латыни! С каким вежливым высокомерием она отвечала ему, учителю – и значит, тирану, – на все его вопросы!

Он знал, что объяснение будет трудное. Но с другой стороны, он провёл юность и средние годы – лучшую часть жизни! – цитируя мудрейшие изречения мудрейших людей, он надеялся почерпнуть нужные слова из этих сокровищ. Он как-то уже потерял способность говорить от себя и вот теперь в уме, как ветхие черепки археологических раскопок, переворачивал архаические изречения о любви, ища такое, которого не знала красавица, принципиально презиравшая

и древних греков, и всю латынь.

Изречения не находилось. Требовалась большая осторожность и во вступлении, и в изложении темы. Одно лишь заключение было ясно: он просил её отдать ему своё юное сердце, свою первую любовь и затем верность во всю последующую совместную жизнь.

Лодка плыла. Девушка скучала. Учитель молчал. Изречение не приходило на ум.

В первый раз они были наедине. Он много и хитро работал над планом, как увлечь её на прогулку вдвоём. Цитаты из Вергилия о сельской природе загипнотизировали девушку в это августовское чудное утро, и она пошла на прогулку. Ксенофонт помог опозитизировать лодку. Учитель задумал объясниться именно в лодке и, по возможности, на середине реки. Твёрдой почве он доверял мало – из лодки же девушка не могла уйти. К тому же на прозаической твёрдой земле он явственней чувствовал нелепость и дерзость своих надежд.

И вот они вдвоём, в лодке, посередине реки – а он молчал. Гипноз Ксенофонта постепенно рассеивался, и девушка нетерпеливо поглядывала на берег.

«Она откажет мне, – горестно думал учитель, – что тогда?»

Он уже слышал от неё, что она передовая женщина, что она реалист, что презирает сентиментальности, что поступает на Высшие женские медицинские курсы. Что ей, если учитель и скажет: «Вы – мой последний шанс на счастье!» Разве

начать: «Дело идёт о спасении одной человеческой жизни?» Возможно, это заденет медицинскую струну её сердца.

Он ужасался и молчал. «Она откажет мне!» – предчувствовал он всё яснее. «Что тогда? Запить? Стать революционером? Какое лучшее средство от тоски?»

Оставалось всё меньше времени для размышлений. Лодка неуклонно приближалась к пристани. В эти последние десять минут надо было бросить жребий: и сказать, и спросить, и получить ответ.

Поникнув головой, остановив свой взгляд на её весле, он начал:

– Вспомним Гераклита: «Пантарей» – всё течёт... всё проходит.

Она не ответила ничего. Она уже слышала это изречение Гераклита. Для неё – юной – изречение это не имело ещё своей тяжёлой глубины. Она была в той поре жизни, когда радуются тому, что всё проходит, и нетерпеливо ждут перемен. Девушка с досадой ударила веслом по воде и не ответила ничего.

Учитель покашлял в смущении, но решился ещё говорить, сильно при этом краснея:

– Наблюдения показывают, что, как правило, учителя классических гимназий – неудачники в любви. Чем бы вы объяснили это?

Она посмотрела на него – всё не догадываясь, к чему вело вступление, – с лёгкой насмешкой. Этот учитель гимна-

зии казался ей одинаково древним, как Ксенофонт или же ветхозаветный патриарх Авраам из города Ур. Его любовь – колючее, жалкое растеньице сухой и песчаной пустыни. Ей предлагать что-либо в этом роде?!

Он понял бесполезность объяснений. Мираж рассеялся, как и прежние, другие. Его судьба не изменилась: обречён на одинокую жизнь. И он снова подумал: запить? уйти в революцию? В тоске, он ещё раз произнёс:

– Гераклит сказал: «Панта рей» – всё проходит.

– Это значит, что и наша прогулка наконец кончится! – сказала девушка и энергично ударила веслом по воде.

Но было ещё одно существо, услышавшее изречение Гераклита и запомнившее его на всю жизнь. Это была маленькая босоногая девочка на плоту, дочь прачки Варвара Бублик.

Хотя и маленькая, она уже работала. Из корзины она подавала матери бельё для полоскания, а готовое складывала в другую корзину (экономилось время на то, чтобы прачке разгибать спину). Эта девочка имела прекрасную память. Удивлённая непонятными словами, впервые услышав иностранную речь, она запомнила и до конца жизни уже не забыла, что сказал Гераклит: «Панта рей».

Лодка проплыла мимо, близко от плота, и одна из прачек приостановила работу, боясь, что огромное покрывало попадёт под лодку или под весло. Она была ещё молода, эта женщина, но со стоном распрямила свою натруженную спи-

ну и стояла прямо, как палка, силясь передохнуть. Рассеянно она посмотрела вокруг, потом вверх – в спокойное, нежно-жемчужное небо, посмотрела на порхающих птиц, затем на противоположный берег реки, весь в садах, весь зелёный, и беззаботная радость, безмятежный покой природы вдруг поразили её. Душа её встрепенулась в изумлённом восторге, и радостно, как ребёнок, она воскликнула:

– Господи! Как хорош Божий мир, где мы живём!

– Ты живёшь в нём, чтобы стирать грязное бельё, – саркастически заметила соседняя прачка, со злобою мыля незамеченное прежде пятно на чьей-то кофте. И, не разгибая спины, не отводя глаз от работы, она плюнула на кофту.

– Ч у ж о е грязное бельё, – добавила соседка по другую сторону. Это была страшная, тощая женщина, состоявшая из одних костей. Она также говорила, не отрываясь от работы.

– Да, ваша правда, – вздохнула прачка, только что восхищавшаяся миром. – Да ещё полоскать это бельё в такой хорошей реке! Что ж, на всё Божья воля, а на человека – судьба!

Тут мать Варвары, вдова Бублик, подняв голову, но боясь хотя бы на миг оторваться от спешной работы, держа руки с бельём в воде, спросила:

– Посоветуйте, добрые люди, – что делать, чтобы жилось полегче? Столько народа живёт лучше нашего!

– Им везёт! – зашамкала беззубая прачка. – Везёт человеку – и всё тут. Как сказка сказывает: счастливый клад найдёт, копая по найму могилу, несчастного ужалит змея на пороге

дома в день его свадьбы. Поняла?

Вдова Бублик задумалась на минуту, потом опять спросила:

– Ну а коли нет человеку везения, что же делать в такой участи, как моя?

На плоту была только одна старуха. Казалось, она и не вслушивалась в разговор, но тут она быстро подняла голову и крикнула только:

– Терпеть!

Это слово неожиданно бросило одну из прачек в припадок гнева.

– Терпеть! – взвизгнула она и прибавила бранное слово. – Терпеть! Докуда? Зачем?! – истерически она била кулаком чью-то рубашку. – Терпеть! – крикнула она ещё раз, заскрежетав длинными жёлтыми зубами. – Ты ещё мало терпела? Глянь на себя, до чего тебя довело твоё терпение! Взгляни на свои руки!

Наивно старуха вытянула перед собой свои руки и с любопытством посмотрела на них, словно видя их впервые.

Это были страшные, тёмные руки, изуродованные работой, изъеденные ревматизмом. Их суставы распухли, мускулы смылись и стёрлись в работе, и страшные, как мёртвые сучья, кости выпирали из-под серо-фиолетовой кожи. Они – эти руки – свидетельствовали о долгой и честной жизни в труде во все возрасты жизни, во все времена года, при всякой погоде: в жару и холод, при ветре, в снег, дождь, туман

и сырость; они имели дело с грязью – и твёрдой, и липкой, и жидкой, газообразной, всякой грязью, какую способен произвести человек. Они навеки потеряли свою первоначальную форму и гибкость, и ничто в мире уже не могло бы вернуть им белизну и здоровье. Как далеко отошли они от первоначального вида руки! Не будь прикреплены к старухе, не выглядывая они из-под её засученных рукавов, их едва ли кто принял бы за живые руки, с ещё органической жизнью. Их скорей можно было бы принять за комья пемзы, за что-то ископаемое, как куски давно погребённого дерева, за черепки глины. Они походили именно на предметы, что хранятся в музеях в отделах палеонтологии, мимо которых, не взглянув, проходит не думающая юность. На них молча смотрят только одинокие сутулые старики, очевидно, учёные. Они смотрят внимательно, мигая утомлёнными, старыми, слезящимися глазами. Но те музейные мёртвые предметы имеют королевский комфорт: о них заботится кто-то; они лежат на бархате, под стеклом, сосчитанные, внесённые в каталог, занумерованные. Палеонтологи одни знают их тайну: были ли они живыми тысячи лет тому назад, а потом умерли, и могила сделала их похожими на пемзу и глину; или же они всегда были только пемзой и глиной – мертвы, – но каприз природы или замысел артиста придали им форму, схожую с чем-то, что могло бы и жить.

Все прачки, оставив работу, смотрели на руки старухи, затем каждая, украдкой, взглянула на свои, словно боясь уви-

деть в них то же уродство. Девочка Варвара смотрела также, а потом, вздрогнув, вытянула и свои ручки, чтоб лучше их видеть. Её детские, восьмилетние пальчики ничем ещё не походили на руки старухи, но серые глаза девочки застыли в изумлении и страхе, словно она увидела, что и для неё, будущей прачки, втайне уже готовила судьба.

И её руки не были белы, не были нежны. И они уже зачерствели и загрубели слегка. Но есть что-то прелестное, невыразимо милое в паре маленьких детских рук. Вид их трогает сердце. В них заплетён уже намёк, а затем колебание: как развернуться? чем стать? – материнским светлым крылом, жёсткой лопатой для грубой работы, украшением тела или же жадной, когтистой лапой? Так листья иных растений замирают на время, прежде чем совершить последний, решающий шаг: остаться ли зелёными и называться листом или же развернуться цветисто и ярко и быть лепестком цветка.

Вдова Бублик глядела не на свои руки, а на руки дочери Варвары, и слеза образовалась в углу её глаз. Она прошептала:

– Терпение – это пусть для меня. Хочется лучшей жизни для дочери.

– Была я раз на тайной сходке, на политической, – заговорила, оглянувшись вокруг, одна из прачек. – Они были коммунисты. «Всё богатство на свете принадлежит трудящимся» – они так сказали. «Надо силою взять всё и всё поделить, всем поровну. А кто не работает, пусть тот и не ест». Я потом

спросила его, кто говорил речь: «А что нам, народу, делать сейчас?» Он сказал: «Учиться. Учение показывает дорогу».

– И тут же отсыпал тебе денег на ученье, – с насмешкой заключила тощая прачка.

– Ну нет, – наивно ответила первая, – коммунисты не дают денег. Они только обещают народу...

– Так зачем тебе было рисковать с полицией и ходить на сходки? Пошла бы ты лучше к обедне в собор. Там почище скажут. Обещают тебе вечное блаженство, не теперь, а погоды, когда умрёшь и тебе ничего не будет нужно.

– Архиерей даст тебе крест поцеловать, из чистого золота, – наслаждайся! – вступила в разговор ещё одна прачка. Она закончила работу и взваливала тяжёлый узел на плечи. – Затем до свиданья! Терпи!

– Что крест! Он и к ручке допустит приложиться. Рука же архиерейская духами вспрыснута, розами, – самые дорогие эти духи, заметь! Тебе же всё это бесплатно, исключительно чтоб укрепить твоё терпенье.

– Не слушай их, девочка, не слушай! – обратилась старуха к Варваре. – При тяжёлой работе находит злобная минута – злобствует человек. – И, повернувшись к реке, она прилежно взялась за полосканье.

Но остальные прачки стояли молча, не спеша снова взяться за работу. Каждая бесцельно глядела вдаль, думая о своей жизни.

– Взгляни-ка! – сказала одна из них, пальцем показывая

на удалявшуюся лодку, где сидел несчастный учитель и барышня. – Утречком, в будний же день им нечего делать, как только прогуливаться в лодочке. Жалко, нет коммунистов: вот не дать бы этой парочке и кушать сегодня.

– Да это учитель, – умиротворяюще вступилась старуха, – это его каникулы для отдыха.

– А у т е б я есть каникулы для отдыха?

Как бы не слыхав вопроса, старуха продолжала:

– Учителя много работают, иные до чахотки даже. Жалованье же незначительное. Это я на него и стираю: в понедельник он уже пойдёт в гимназию. Ему я всегда благодарна: платит аккуратно.

– Нет, слушайте! Старуха работает на здорового парня и очень благодарна, что он ей платит! – злобно смеялась тощая прачка. – Ты, бабушка, вижу, хорошо научена терпению.

В эту минуту радостный звон колоколов наполнил воздух, сообщая, что закончилась обедня в соборе.

– Товарищи! – воскликнула та, что была на сходке. – Беритесь за работу! Вспомните, те, что сами не стирают, всегда надевают чистое бельё по субботам. Работай, босоногая команда! Это ты не будешь есть сегодня! – И она с ожесточением набросилась на бельё.

Остальные молча последовали её примеру. И Варвара работала, но, занятая неотвязной мыслью, она то и дело роняла бельё. Её испуганные глаза, серые и круглые, всё глядели на маленькие руки.

Это был август 1907 года. После неудавшейся революции 1905 года все слои населения, хотя и по различным причинам, находились в состоянии беспокойства, недовольства и опасений. Политическая пропаганда велась непрерывно, и много горечи и надежд сосредоточилось на ожидании больших перемен в государстве.

Глава II

Вернувшись домой, Бублики, мать и дочь, долго и исто-во гладили бельё. Работа эта, особенно мучительная летом, всегда требовала большой осторожности и внимания. Про-фессия прачки – одна из немногих, где погрешности скрыть невозможно. Уголёк, нечаянно выпав из утюга, мог явиться причиной финансовой катастрофы. Утюг слишком горячий, утюг слишком холодный, малейшее пятнышко на свежем бе-лье – пылинка, соринка, пушинка – всё грозило несчастьем. Капельки синьки, след от сырой верёвки, сгусток крахмала – прачке не прощалось ничего.

Готовое бельё доставлялось по назначению безвозмездно. Обычным клиентам вдова Бублик разносила бельё сама. Но были и особые, требовательные клиенты – эгоисты, эстеты, маньяки внешней чистоты, кокетки, кокотки – те желали, чтоб их бельё было бело, как только что выпавший снег, све-жо, как цвет яблони, чтобы доставлялось оно не свёрнутым, без единой морщинки и складочки. Этим элегантным лицам бельё доставляла босоногая Варвара, со старанием и рвени-ем, неся вещь подальше от себя, на вытянутых руках.

Сегодня ей поручена была крахмальная рубашка молодого дьякона собора. Со вздохом умиления отправляла вдова этот плод своего труда и особых стараний.

– Осторожно, Варя, осторожно! – говорила она, покрывая

рубашку папиросной бумагой. – Держи её выше! Вытяни руки. Чтоб ни к чему она не касалась. Не дай Бог... Выше руки, Варя, выше!

– Так?

– Так.

Варвара приняла позу марафонского вестника, готового к бегу.

– Завтра в соборе за обедней отец дьякон будет стоять в этой рубашке перед Божьим престолом, в самом алтаре! Осторожно! Ну, с богом! Неси!

Варвара ринулась вперед и легко побежала по улице.

– Слава, слава Тебе, Господи! – молилась, крестясь, прачка. – И мой труд побудет в Божьем доме. Не оставил Бог милостью.

Будь у ней ботинки, и она пошла бы к вечерне в собор. Босоногие люди избегают ходить во многолюдные храмы.

Варвара между тем стрелою летела по улицам.

Город утопал в садах. Из-за них домов почти не было видно. Город цвёл, благоухал. Кое-где над заборами из-под сочной зелени пленительно улыбались, краснея, яблоки и томно млели груши. Но Варвара знала уже, что строго наказуется покушение на частную собственность, и давно закалила себя от искушений этого рода. К тому же и здравый смысл говорил, что если ещё висят эти фрукты, то, значит, их невозможно достать с улицы, ибо во всяком городе обитают и уличные мальчишки. Она и сама имела некоторый жизненный опыт:

где есть имущество, там есть и собака, большая, лохматая, верный друг хозяина, только хозяина, но не человека вообще. Собака эта – фанатик. Поэтому, не отвлекаемая бесплодными мечтами, Варвара быстро приближалась к цели. Квартала за два до дома дьякона уже слышалось пение. Два голоса – изумительно прекрасный бас и ещё более изумительно прекрасный тенор – пели «Ныне отпускаеши», готовясь к вечерней службе. Слава обоих дьяконов была велика, говорилось даже, что из Москвы приезжали их слушать и что обоих дьяконов скоро пригласят в столичный собор.

У самого дома Варвара подождала, пока замерла последняя бархатная нота баса и «Ныне отпускаеши» отзвучало. Затем на цыпочках, как на пуантах, она вступила на небольшую веранду и, вежливо всем поклонившись, молча протянула рубашку. Хозяйка, старая женщина, мать дьякона, поднялась и осторожно, благоговейно взяла рубашку дорогого своего Сына, тенора, дьякона Анатолия. Девочка отступила шага на два и как бы слегка замешкалась (так учила её мать), ожидая, не вздумают ли тут же и заплатить за стирку. На сей раз это редкое событие имело место.

– Постой, девочка, – сказала хозяйка, – уж наверное тебе нужны и деньги. Я вот унесу рубашку да и заплачу. – И она ушла в дом.

Оба дьякона остались на веранде. Златоволосый Анатолий, кому Варвара принесла рубашку, очевидно, только что вымыл свои длинные волосы раствором ромашки и теперь

сушил их, согласно рецепту, на открытом воздухе, в лучах солнца. Мокрые пряди висели вокруг его головы. В косых лучах заходящего солнца, с черепаховым гребнем в руке, он стоял, весь золотой, и жаловался на свою судьбу:

– Сколь счастливы те, кто богат и путешествует! Наша Россия – отсталая страна. Возьми, например, хоть эти мои волосы: как сохранить цвет их, блеск и первоначальную от рождения волнистость? За границей же, слышно, есть специальные жидкости и помады, имеются секретные даже рецепты. А тут? А я? – И он продолжил с горечью в голосе: – Только и всего – прополаскиваю их в растворе ромашки, как деревенская девка. Волосы же, наблюдаю, начинают тускнеть и темнеть. Пошел я к доктору спросить, не знает ли какого научного средства, надеялся, движется же вперёд наука, хотя бы и в России. А он? Говорит: «Попробуйте перекись водорода, слабый раствор». Но предупредил, бывает и неудача, волос же мой – тонкий и нежный. А доктор: «Рискните!» – говорит. Духовная особа не может рисковать. Как вдруг выйти на амвон с волосами разного цвета?! Возьми также и волну: она слабеет! Не рискую пользоваться горячими щипцами: волос легко сжечь. Да и жар расщепляет концы. За границей же, по слухам, большие имеются изобретения. Появилась «вечная» завивка, держится, пока жив человек. О блеске и не говори! Есть здесь пиксафон, но хорош исключительно для тёмных волос, мой же волос – золото! Да, надо, надо в Россию побольше просвещения и хоть какой-нибудь науч-

ный прогресс!

– Ну, ты, однако... – загудел в ответ отец Савелий. И его мощный, глубокий бас всколыхнул вечерний воздух, как медный колокол на колокольне. Он и сам походил на колокольню: высокий, широкий, с лицом медно-красного цвета, с гривою бронзовых волос и с глазами, большими, как сливы. – Ты, однако, посмотри на дело и с другой стороны. Духовенство за границей всё стрижено. Только православная церковь придерживается апостольского вида. Жил бы ты за границей, так был бы стрижен, не знал бы даже, есть у тебя блеск, и цвет, и волна или их нету. Что же осталось бы от твоего благолепия?

– Безволос? Но другие блага цивилизации, полагаю, возмещают духовенству за это. Нельзя сомневаться, что и духовенство и миряне там вообще куда счастливее!

– Нет, не хвали ты Европу при мне, оставь эти тамошние блага цивилизации! – буркнул отец Савелий. – В неведении – благо. Нищие духом идут первые в заповедях блаженства. Неведение даёт покой душе. Возьми моё семейство. Брат мой Иван – любопытный был мальчишка – из озорства как-то раз сходил на бойню посмотреть, как убивают скот. Увидел – стал вегетарианцем. Так и прожил жизнь – голодный. Мало того, в молодости, по дружбе со студентом-медиком, сходил в анатомический музей. Там, увидев под стеклом и в спирту печень пьяницы, бросил пить. Пил с тех пор исключительно воду. Случилось, увидел в микроскопе кап-

лю сырой воды, испугался бактерий – стал воду кипятить. Купался в кипячёной воде, посуду мыл перед едой, обдавал кипятком. Суета! Жена его молодая заскучала над кипятком: с утра до вечера кипятила. Бросилась в речку и утопилась... А брат мой Иван, труп увидя, стал смерти бояться, разложения и запаха, и развилась в нём новая болезнь – мания чистоты. Весь заработок шёл на карболку. От забот, чтобы быть здоровым, и заболел. Увезли в больницу. Там и скончался – в психиатрической – в сорок лет! В нашей же семье мужчина живёт лет восемьдесят, а то и все сто. Недаром сказано: «Премудрости не взыскуй». Человек разумный её не выносит. Брат Иван помер, а вот дед наш по сей день жив, и, надо сказать, выпивает.

– Я презираю истории в таком роде, – возразил тенор, нервно помахивая гребнем, – в них чувствуется грубость.

Отец Савелий, пожав плечами, направился в садик, где стал ходить молча взад и вперёд по дорожке. Оставшись один, отец Анатолий вдвинулся поглубже в солнечный луч и стал заботливо расчёсывать передние пряди волос. Варвара, стоявшая на ступеньках, осторожно оглянувшись вокруг, на пуантах сделала два шага по направлению к дьякону и тихим голосом, вкрадчиво заговорила:

– Отец дьякон, скажите, если надо что-то получить от Бога, то как сделать, чтоб Он непременно послал? – Сказав, она вытянула по направлению к нему свою голову на длинной тощей шее и ждала ответа.

– Это зависит... – начал рассеянно дьякон, – кто просит.

– Я прошу, – задыхаясь, шепнула Варвара, ткнув себя в грудь указательным пальцем.

– Ты?.. – так же рассеянно спросил дьякон, внимательно расправляя прядь волос. – О чём же?

– О чём – этого нельзя сказать, – задохнулась Варвара.

Тут дьякон взглянул, с кем говорит. Увидев молодость и социальную незначительность вопрошавшей:

– Брысь! – крикнул он. – Тоже ведь, лезет с вопросами!

– Не задавай вопросов, девочка! – загудел колокол сзади, и, вздрогнув, Варвара отпрянула, ухватившись за столбик крыльца, чтобы сохранить равновесие.

Отец Савелий заключил свой совет изречением:

– Сказано: «Умножающий мудрость – умножает скорбь». Дети же, знаешь ли, цветы земли. Ты цвети себе и молчи.

– О чём ты спрашиваешь, девочка? – заговорила возвратившаяся хозяйка, протягивая на ладони плату: медный пятак и позеленевшую монету ценностью в три копейки. – Возьми вот, да неси осторожно. Кулак зажми. Не потеряй.

– Я спросила... – расхрабрилась Варвара.

– Поди сюда! Сядь-ка со мною вот тут, на ступеньке. Нака огурчик свеженький с моего огорода. Съешь, а потом и спросишь, что тебе надо.

Они сели на ступеньках веранды. Варвара шумно откусывала и жевала огурчик вместе с кожей. Он хрустел на её крепеньких белых зубах. Старушка же сидела, устремив взгляд

вслед уходящему солнцу, медленно, словно в знак согласия, покачивая головой. Через промежутки времени она вздыхала. Эти горькие, глубокие вздохи уже давно стали её твёрдо установившейся привычкой. Казалось, внутри её тела был устроен и заведён часовой механизм, который правильно работал уже десять лет. Старушку «точила скорбь».

Этот златовласый дьякон Анатолий был её единственным, «вымоленным» сыном. В детстве он заболел скарлатиной, и доктор сказал, что смерть неизбежна. И тогда – в какой горячей, в какой пламенной молитве! – она вымолила у Бога жизнь ребёнку, обещав посвятить его церкви, воспитать его «духовным лицом». И сын поправился чудесным образом и рос – благословение Божие! – необыкновенно красивым ребёнком: прохожие останавливались на улице. Затем у него появился необыкновенный, незабываемо прекрасный голос. Радовалась вдова: Господь указывал ей путь. Как трудилась она, как работала и как терпела, чтобы дать ему возможность учиться в семинарии. Настал наконец и знаменательный день – исполнение всех молитв, всех желаний: Анатолий стал соборным дьяконом.

Но тут же и кончилось счастье. От восхищения людского изменился дьякон: его стало увлекать «мирское».

Как же был великолепен дьякон! С чем сравнить? Высокий и стройный, как тополь, с византийским овалом лица, с глазами – миндалём из светящегося сапфира, с золотой, сияющей гривой волос и с этим необыкновенным голосом!

Всё, всё, кажется, было в нём, за исключением призвания к духовной жизни. И женат он был разумно (мать сама и женила) — на благочестивой девушке, чтоб укрепить его на стезе добродетели. Без особой красоты телесной была невеста, но исполнена добродетелей, могла бы заменить ему и мать, случись той умереть преждевременно. От невесты же, как приданое, был и этот домик, и огородик, и садик, и мебель, и кое-что (немного, правда) в казначействе, на книжке. Увы! — помимо этого в брачный союз невеста внесла и унылое свое лицо, коричневатое от болезни печени, и исключительный дар в немногих словах выражать горчайшие истины. Годами она была лет на десять старше дьякона и, постоянно помышляя о бренности всего земного, о неизбежности конца, не переносила веселья: ни пирушек, ни пикников, ни на лодках катанья, ни плясок, ни светского пения. Благочестивые разговоры единственно услаждали её.

И вот, когда в уютном домике поселились две добродетельные женщины, дьякон стал избегать и дома, и благочестивых бесед, и жены, и матери. Он отсутствовал, как только к тому представлялась возможность. После обедни ли, после вечерни ли напрасно ждали его у стола, подбрасывая в самовар угольки, чтоб кипел и шумел. Где-то в ином доме дьякон пил чай, кто-то другой наливал ему чашку.

От душевной скорби жена всё больше желтела лицом, морщижилась, старилась быстро, дьякон же стал получать письма по городской почте. Городские бесстыдницы писали

ему – духовной особе, женатому же человеку! Порою письма были ещё и надушены, и в доме, где донине пахло лишь ладаном да валериановыми каплями, запах духов казался кощунственным. В ответ на духи в доме воцарился запах жаренного на постном масле, ибо обе женщины дали обет не вкушать отныне скоромного. А Анатолий подружился с отцом Савелием. Савелий же, несомненно, был великий грешник! Это каждый мог сам увидеть при первой же встрече: чревоугодник, любитель и выпить, и мало ли что ещё; человек без всякой «духовности», даже и во внешнем облике. А что делалось у него внутри – лучше не думать. И в церкви его больше терпели за голос. Голос у него, слов нет, был. Архиерей, невзирая на голос, то и дело ставил Савелия на епитимьи, однако же – странно: не упущение ли это? – был к нему благосклонен, как к ребёнку, отпуская его грехи «за незлобие». Главный грех – отец Савелий выпивал ежедневно «для поддержания голоса», а если ожидался молебен с многолетием или предание анафеме, то выпивал и добавочное. Не раз, благословляя духовенство перед церковной службой, архиерей, потянув носом и почуяв запах вина, вдруг скажет: «Отец Савелий, стань-ка вот тут на колени – кайся. Триста поклонов!»

Затем пошли слухи, что обоих дьяконов приглашают в Москву. Смутно намекалось – для светского пения: для концертов вначале, потом и в оперу.

Напуганные слухами, обе женщины упали в ноги сначала

архиерею, потом полицмейстеру, умоляя «учинить препятствие» и Анатолия из города не выпускать. Дьяконы же дома начали репетировать светское. В открытые окна лилось на улицу то «Любви все возрасты покорны», то «Я тот, которому внимала», а на смену – «Я люблю вас, Ольга». Имя же матери было Евпраксия, жены – Агриппина. Обе женщины сгорали от стыда. Публика же наслаждалась, и гуляющие в летний вечер парочки останавливались под окнами и аплодировали. А раз, когда Анатолий спел «В сиянье ночи лунной тебя я увидал», то какой-то незнакомый господин, хорошо одетый, даже в дом вошёл и, пожимая руку Анатолию, сказал:

– Лучше Собинова поёте! Честное слово! Да что вы тут делаете? Сбрасывайте рясу и катите в Москву. Подумайте, если бы Шаляпин сидел на месте, не стал бы великим артистом!

Господин этот, несомненно, был дьяволом, и такая открытая прямая атака искушителя повергла обеих женщин в ужас. После усердной молитвы мать Анатолия приняла решение. В случае, если Анатолий покинет духовный сан, уедет в столицу и станет петь по театрам, она – мать – будет бороться за спасение его души такими путями: во-первых, лишит его материнского благословения; во-вторых, отречётся от него «церковным способом» (она полагала, что есть специальный обряд в богослужебных книгах – отречение от сына); в-третьих, будет следовать за ним, куда бы он ни поехал, чтобы,

собирая толпу, «стена и плача», рассказывать всё людям – при входе в театр, где он будет петь, до начала спектакля, там же во время исполнения, при выходе после окончания, под окнами, где он будет ночевать.

Над такой угрозой дьякон задумался. Он легко перенёс бы два первых пункта, но третий повергал его в смущение. Он знал свою мать и предвидел, что эти обращения к толпе, рассказы и слёзы её – «да ужасаются людие» – станут основным её религиозным упражнением до конца жизни. К тому же и Агриппина смиренно, но твёрдо объявила, что, ставя дочерний долг выше супружеского, она поможет матери во всех её начинаниях, будет с ней и под окнами и перед театрами проливать горькие свои слёзы. Обе женщины не оставляли надежды вернуть заблудшую овцу в лоно семьи и церкви, уверенные в том, что две благочестивые женщины сильнее какого угодно дьякона.

Они, конечно, обе глубоко страдали – и Евпраксия, и Агриппина, – так как обе боготворили вероломного дьякона. В «сворачивании» же с пути обвиняли исключительно искушителя, для этой цели принявшего облик отца Савелия. Обе женщины готовы были жизнь свою отдать, лишь бы спасти душу дьякона Анатолия.

Итак, эти две женщины, ближайшие родственницы прекрасного дьякона, мать и жена, кому завидовали столь многие в городе, проводили дни свои в скорби. Это и вызвало привычку «вздыхать». Мать положила начало, а жена после-

довала примеру; ей казалось непристойным присутствовать молча при том, когда вздыхает старшая в доме, – и она эхом отзывалась на вздохи.

И вот, поглядев на Варвару, которая закончила грызть огурчик, хозяйка спросила:

– Теперь расскажи мне, девочка, что ты хочешь узнать, о чём спрашиваешь?

– Я хочу узнать, – зашептала Варвара с опаской, – как достать от Бога, что мне надо.

– Ах, дитя-несмышлёныш, – вздохнула старушка, – не так надо бы сказать. Сказать надо бы – как получить от Господа милость, по горячей, неустанной молитве и с верой о том.

– Чтоб получить, – подчеркнула Варвара.

– В молитвенном прошении главное, чего человек просит у Бога, – наставляла старушка. Она любила «духовные» разговоры и по многим церковным вопросам считала себя специалистом. – Глаза болят – молиться надо святому Пантелеймону, в летнюю засуху Илья-пророк посылает дожди, в хозяйстве корова или что другое потеряется – Иван-воин великий помощник, стоит на страже, небесный часовой. О счастливой семейной жизни, – тут она остановилась и горько-горько вздохнула, – начинать надо со святого Иосифа-обручника, пока ещё невестишься, а как семейное горе начнётся, тут святые помощники идут уже парами: Иоаким и Анна, Ксенофонт и Мария, Андриац и Наталия. Добрых вестей ожидаешь – приносит их вестник архангел Гавриил. Гонение

неправедное терпишь – молись святителю Николаю. Вот это святой так святой! Недаром назван «Скорая помощь». Попросишь – получишь.

– А долго надо просить? – задохнулась Варвара.

– Ни-ни, случается, и рот не успеешь закрыть, попросивши, – получай, исполнено.

– О! – Варвара вздрогнула и прыгнула со ступеньки, готовая бежать и использовать полученное знание.

– Стой! Стой, девочка! – старуха схватила её за подол. – Куда ты? – В голосе и взгляде её появилось подозрение. – Что за дело у тебя такое спешное? Сядь вот тут и расскажи.

– Я хочу... – Варвара нагнулась к самому уху старушки и зашептала в него: – Я хочу учиться в школе.

– Вот как!

– И я хочу... – Девочка ещё раз оглянулась кругом, в опасении, не подслушивает ли кто, и ещё тише зашептала в ухо: – Я хочу учиться в самой хорошей школе – в гимназии.

– В гимназии? – удивилась старушка. – Не много ли ты, девочка, хочешь?! Надо знать христианскую меру в желаниях. Соблюдай уничижение, и «желание твое да будет смиренно». А ты – в гимназию! Просить у Бога надо осторожно. Иной безумец просит, чтоб у соседа случилось несчастье, – глядь, у самого случился пожар или подохла корова. Совершенно исключается исполнение для тщеславия: кончится худо, если получишь. Удовольствий грешно просить, они расслабляют душу. И для жадности, для гордости, для зависти греш-

но просить. Мало о чём допускается просить христианину: пищу – хлеб да воду, крышу над головою, одежду – покрыть нагое тело, да безболезненную кончину живота.

– А гимназию?

– Рассмотрю своё желание, девочка! Учиться – это ещё ничего: церковь учения не возбраняет. Были среди угодивших Богу и учёные. Но не соблазн ли гимназия? Есть начальные школы для простых детей. Не от гордости ли ты просишь? не от зависти ли, жадности или тщеславия? Зачем тебе гимназия?

– Я хочу очень-очень хорошо выучиться.

– Так, так. Ну что ж, проси Николу-угодника – и будешь в гимназии.

Варвара опять вспрыгнула, готовая бежать и просить.

– Да постой! – и старушка снова поймала её за подол. – А ты знаешь, как надо молиться? Найди место чисто и свято, – заговорила она деловито, тоном эксперта, – лучше всего, поди в собор. Направо придел святителю Николаю. Узнаешь: риза в крестах, в руке книга – Евангелие. Седой, на голове маленькая плешка, и голова непокрыта. Найди уголок потемнее: в уединении надо молиться. Собери все мысли на своё желание и пади ниц. Умеешь?

– Так? – спросила Варвара, упав и расстилаясь на полу.

– Так, только ноги собери вместе, не расставляй ноги-то.

– Сейчас и побегу в собор! – вскочила Варвара.

– Да постой ты! – Старушке не хотелось оставить ду-

шеспасительной беседы. Проведя полжизни в просительной молитве, с воздержаниями, обетами и постами, а другую половину – в благодарении за полученное, опять же с обетами и постами, и, наконец, находясь «в скорби», она знала кое-что о тщетности человеческих желаний и о риске, таящемся в их исполнении. – Вот что надо бы помнить, да ты мала, не поймёшь. «Всякая земная в мире сем сладость душевной печали бывает причастна». Запомнишь?

– Уже запомнила. – И Варвара повторила изречение.

– Да ты и вправду умная девочка! – удивилась старушка. – Что ж, молись и проси. Так вот: падши ниц, прошепчи свою просьбу. Всё сердце вложи в слово. Затем – плачь и рыдай. Дар слёз – великое дело. Бей себя в грудь, вот так, правой рукой, кулачком. Гори в молитве, как в огне. Пусть глаза твои тают в слезах и ничего не видят. А зубы стисни. Встань и упади. Бей своё тело о камень. И молись и проси, и молись и проси. И получишь.

Глава III

Узнав, что ей нужно, Варвара стрелою мчалась домой. Она задыхалась от нетерпения, от радостного волнения и мыслей. Её, испытавшую уже кое-что в жизни, несколько не испугали трудности предстоявшей ей молитвы. В получении же благодати она не сомневалась.

Варвара знала кое-что о Боге, но смутно. Она знала наизусть и «Богородицу», и «Отче наш»; знала также, что обе эти персоны – на небесах, очень далеко от человека и потому невидимы глазу. Молитвы она читала наспех, без интереса, не ожидая взамен ничего. Она крестилась, проходя мимо церкви, не зная, зачем это нужно. О том, что есть прямой и верный путь общения с Божеством, она услышала сегодня впервые. Её одарили могуществом. Так вот как надо молиться! Она уже сожалела о времени, потерянном в незнании. Жизнь отныне казалась ей лёгкой. С пренебрежением к себе она вспомнила теперь свои прежние неумелые и невежественные молитвы. О чём она просила? Найти кошелёк, и в нём три рубля, – это была жадность. Чтоб Бог наказал парикмахера Оливко, самого требовательного клиента Бубликов, и наказал бы как следует, смертью, – но это значило желать зла ближнему. Как-то раз, увидев очень нарядную даму, она горячо молила Бога о таком же небесно-голубом длинном платье в оборку и о прозрачном зонтике – и это, конечно, бы-

ли и зависть, и тщеславие. Она однажды просила даже скоропостижной смерти соседскому мальчишке, ударившему её по спине лопатой! Нет, нет. Совершенно отрезвлённая, она оставит людей в покое. Она станет разумно просить исключительно для себя. Её желание, рассмотренное со всех сторон матерью дьякона, было одобрено – подлежит исполнению. Гимназия! Она спасёт Варвару от судьбы прачек. Сейчас же, сию минуту, только вот отдать столь нужные в хозяйстве восемь копеек матери, и она побежит в собор, попросит и получит.

Что, каким образом, в каком виде надеялась она получить, Варвара не знала. Смутно ей представлялось, как Николай-угодник, Скорая помощь, возьмёт её за руку и поведёт в гимназию, там он властно прикажет, чтоб Варвару учили, а расход весь возьмёт на себя. Увы, она щедро была одарена талантами бедняка: желать и мечтать! Доверчивая и прямая по натуре, она не понимала, что могли ещё возникнуть препятствия, словесные оговорки, вообще осложнения. Она не знала ещё о существовании символов, аллегорий – всего, что должен принять человек вместе с верой.

Варвара знала, что для поступления в школу прежде всего надо «подать прошение». Писать и читать она умела. Два года тому назад на неё обратила внимание одна женщина, жившая по соседству: «Какая разумная девочка!» Она объяснила Варваре гласные звуки и буквы и как их писать и читать. Затем показала несколько согласных. И вдруг эта жен-

щина исчезла. Говорили о ней шёпотом – «политическая», и Варвара не понимала этого слова. Догадываясь, что знает не все буквы, Варвара старалась добыть сведения об остальных, где случалась возможность: у приказчика в лавке, когда он был не очень занят и сердит, у извозчика на углу, если он не спал, у сапожника, если он не был пьян, у нищего «из благородных», заканчивавшего и карьеру, и жизнь с протянутой рукой у ограды собора. Наконец, она могла свободно читать. Но что? Книг не было, о том, чтоб купить их, не могло быть и речи. Она читала обрывки газет, что ветер, вместе с другим мусором, разносил по улицам, афиши, расклеенные по заборам, вывески магазинов. Она знала заглавия всех книг в витрине магазина. И жизнь для неё стала наполняться тайнами. «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона», – шептала она, содрогаясь в непонятном ей мире, и никто – ни извозчик, ни приказчик, ни сапожник – не мог ей сказать, что это было такое. Войти в книжную лавку и там спросить она никогда бы не решилась.

А нищий «из благородных» на её вопрос об «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона» вспылил: «Пошла вон! Тоже ещё, вздумала дразниться!»

У неё была замечательно хорошая, исключительная память: она помнила всё, что читала. Непонятное входило в неё, создавая в ней сознание, что помимо её жизни, известных ей людей, слов и обстановки, где всё было ясно, понятно и просто, существует иной мир, полный тайн и чудес, и вход

в него доступен далеко не всем, и один из путей в него – учение и книги. Мысль об этом скрытом где-то поблизости мире волновала её. По ночам она часто думала о нём. Она вспоминала прочитанное и удивлялась. Удивлялась и размышляла. И то, что никто вокруг не мог помочь ей, ещё более укрепляло её в мысли, что тот, скрытый мир необыкновенно пленителен и чудесен. Но были и страшные слова: аттракцион, гонорар (гнали, должно быть, кого-то, и – странно! – «по соглашению»). Были и милые слова, как игрушки: «Трильби», например; были вкусные – «Абрикосов». Всё это в том же самом мире, где «сдаются комнаты», «принимаются заказы» и где «цены без запроса». Как вступить из мира известного в тот неизвестный? Она уже слышала это слово – учение. И те, кто выучился, она видела, жили иначе: они входили в магазины без страха, рассматривали книги, шли в театр, где «после спектакля – танцы», очевидно, это им – «оптовым покупателям – большая скидка», это для них, едущих в экипажах, – «всем держаться правой стороны». Как стать одной из них? Нашёлся ответ: гимназия.

Писать она уже доучилась сама, и писание для неё было творчеством. Это очаровывало её. Палочкой на земле, около своего дома, она выцарапывала: «Тут живёт Варвара Бублик» – и у неё дух захватывало от восторга. Считать же Варвара умела, казалось, от рождения. Она любила считать. Она точно знала, на какой улице сколько домов, в каждом доме – сколько на улицу окон. Она светилась радостью, случайно

узнав, что в году двенадцать месяцев, в неделе семь дней, что Рождество «стоит на месте», а Пасха «двигается», по неизвестной никому причине.

Познаниям Варвары, сколь ни бедны они были, нашлось уже и практическое применение. Она писала письма неграмотным, кто жил по соседству. Её «благодарили», скромно, правда, нищенской лептой, но и это был «заработок», вид которого неизменно вызывал слёзы в глазах вдовы Бублик. Случалось ей получить сухой бублик, престарелый пряник, а иногда и свежее яичко. Клиенты приносили с собой конверт и бумагу, а чернила и перо имелись уже у Варвары. Бутылочка стояла на полочке, в углу, за потемневшей иконой, а перед нею, рядом с засохшей веточкой вербы, лежала и ручка с пером, аккуратно завернутая в чистую тряпочку.

Письма бедняков! Какая область литературы! Она ещё никем не исследована, не помещена в сборники и мало кому известна. Те, кто живёт в горькой нужде, не обмениваются письмами от нечего делать, от безделья, от скуки, из вежливости, для поддержания светских отношений. Бедняк шлёт своё письмо, когда сердце уже не может молчать, и его слово, выстраданное тоской ночей, исходит из сердца. Облитое слезами, оно не нуждается в отделке, в прикрасах, в ритме и стиле. Такие письма не крылатые вестники радости, они обычно продиктованы горем, заботой, надеждой, тоской. Их слово кратко, печально и сдержанно. Бедняк не прибегает к шуткам, спутникам довольства и счастья. Он диктует пись-

мо отдельно, торжественно, как читает молитву.

Другим родом Варвариных писаний были прошения. Смущённый клиент приносил большой лист бумаги, осторожно подавая его Варваре, расправленным, в вытянутых руках. Диктуя, он терялся в словах, заикаясь, покашливая, вновь и вновь возвращаясь к основной мысли, вёл себя так, словно уже находился в присутствии высокопоставленных лиц. Он просил Варвару «хорошо написать» – и она, напрягая силы, выводила огромные буквы, располагая слова неровными строчками.

Прошения писали чаще мужчины, письма же – обычно «на родину» – женщины.

Женщина входила медленным, торжественным шагом. Она диктовала не спеша, глядя перед собою сосредоточенным, невидящим взором. Горькие слова произносились глухо, словно комья земли падали на крышку гроба. Варвара писала старательно, низко нагнув голову над бумагой. Кругом царила настороженная тишина. Так когда-то её предки и наши высекали на камнях и скалах слова событий, свидетельствуя грядущим поколениям о пережитых несчастьях, и им внимала та же глухая тишина вечности.

Таким образом, ещё ребёнок по летам, Варвара уже причастна была к жизни человечества, касалась, главным образом, его несчастий. И когда клиент или клиентка просили прочесть написанное вслух, она читала благоговейно и строго, как читают Евангелие.

Затем у Варвары появились и письменные принадлежности. Один конторщик, служивший на железной дороге, как-то дал вдове Бублик, стиравшей на него, коробку казённой писчей бумаги, дюжину карандашей и сотню перьев. Он был выпивши и, давая подарок, предупредил, что вещи эти всё равно что краденые, их лучше никому не показывать, а при употреблении бумаги надо отрезать ножницами печатный заголовок.

И вот сегодня Варвара открыла эту коробку и бережно взяла большой лист. Осторожно и ровненько она отрезала заголовок – «...ская железная дорога» – и разложила лист на столе. Её руки дрожали. Благоговейно она вывела огромными буквами посередине листа: «Прощение».

Всякое прошение, как она знала, должно начинаться словами: «Ваше Высокоблагородие». Написав это, она задумалась. Затем с новой строчки добавила: «Варвара Бублик хочет учиться».

Казалось, это было всё. Но, опасаясь быть непонятой, она добавила: «в гимназии». Ещё подумав, добавила: «не имевши денег по причине горькой бедности».

Со вздохом удовлетворения она смотрела на исписанный крупными буквами лист. Кажется, ясно. Не может возникнуть сомнений, чего хочет Варвара Бублик. Она не беспокоилась относительно грамматических ошибок, так как не знала ещё о существовании право писания, – писала как говорила. Из знаков препинания она пользовалась одной точкой,

ставя её на самом конце. Оставалось ещё подписать – и готово!

Вдовы Бублик не было дома, она разносила бельё. Да Варвара и не предполагала делиться своими планами. Покорность судьбе, смирение и робость матери ей были хорошо известны: мать потеряла бы присутствие духа от одного слова «гимназия». Близких же друзей у Варвары не было. С одной стороны, даже и в том беднейшем пригороде, где жили Бублики, – даже там царил своего рода снобизм. Иные дети имели ботинки, другие ходили в приходскую или даже городскую школу, третьи получали копейки от родителей и в лавке покупали леденцы, пряничных коней, баранки. Варвара была беднее их, но, сознавая себя умнее, одарённое, она не смирялась с положением, отведённым ей в том околотке судьбою. Отсюда происходили столкновения. Царило и там право сильного: Варвара подвергалась насмешкам. С другой стороны, вдова Бублик, зная кое-что об испорченности рода человеческого в своём квартале, старалась держать дочь при себе, рано приучив её помогать в работе и затем делить радость заработка.

Итак, Варвара положила полученные за рубашку дьякона восемь копеек посередине стола, на самое видное место, сама же, аккуратно сложив прошение, помчалась к собору.

Было рано ещё, и церковная служба не началась, но одна половинка церковной двери была открыта. В большом волнении, легко ступая, на цыпочках, переступила Варвара по-

рог. Церковь была пуста. Только старик сторож, шаркая ногами, с зажжённой свечой в руке, двигался где-то в глубине храма, зажигая лампы перед образами и прерывисто, шёпотом творя перед каждым положенные молитвы, тропари и кондаки. Он уходил, оставляя чудесные трепещущие огоньки – зелёные, красные, пурпурные, синие, – путь его был таинственно-прекрасным. Варвара зажмурила глаза, её сердце стучало. Она впервые видела храм пустым, не в толпе, не из-за спин тех, кто выше ростом, и величие и безмолвие её поразили. Она вступала – трепетно и с верою – в мир чудес. Затаив дыхание, она двинулась на поиски святителя Николая. Длинными рядами – в иконостасе и по стенам – стояли святые, сумрачно, властно и строго, в торжественных позах, в строгом порядке, словно только что появившись откуда-то и приготавливаясь к богослужению. На Варвару они не обращали никакого внимания. Они глядели вверх или в сторону. Казалось, они даже слегка отворачивались от её ищущих глаз, от взора маленькой невежды, которая испытующим взглядом, бесцеремонно разглядывала атрибуты каждого из них. Вот Иоанн Креститель на фоне безотрадной, выжженной солнцем пустыни, с верблюжьей кожей, накинутой на тёмное тощее тело. А рядом архангел Гавриил, с благою вестью, только что из рая, с белой лилией на длинном стебле. Святой Пантелеймон бережно нёс свой ящичек лекарств, а Мария Магдалина – красное яичко. Вера, Надежда и Любовь толпились около своей матери, мудрой Софьи, и Любовь бы-

ла самая маленькая и печальная. Кое-кто стоял в облаках. На блюде – усечённая глава. Бесстрашный воин на коне разил змея, и девушки смотрели на него из оконца. Старичок ласково кормил медведя, и голубь парил над людьми у реки. Наконец Варвара увидела святителя Николая. Здесь!

Это был он. Лампада тепло освещала строгое, чистое лицо.

Проверила: белая риза в крестах, голова седая, непокрытая, в руке – книга. Привстав на цыпочках, она старалась прочесть надпись. Среди слов из странных букв она разобрала всё же – Николай.

Здесь! Здесь находился источник чудес. Вздохнув глубоко, набрав воздуха, она впилась взглядом в икону – лицом к лицу, из глаз в глаза, стараясь построить и утвердить связь от сердца к сердцу.

Затем она упала на колени, глухо стукнув костлявыми ногами о каменный пол. Она поклонилась чудотворцу смиренно, радостно и низко-низко, прижав лоб и лицо к прохладным и твёрдым каменным плитам, и её маленькое сердце, встрепенувшись, забилося быстро-быстро. Для начала она прошептала:

– Здравствуйте. Будьте здоровы. Я – Варвара Бублик. Я хочу учиться в гимназии. Меня направила к вам бабушка Закаблуковская. Я сейчас буду вам молиться.

Сгорбившись, она начала напряжённо отбивать земные поклоны. Собирая всё существо своё, все мысли на своём

желании, она падала и подымалась, то выпрямляясь, то прильнув и почти сливаясь с каменными плитами пола. И когда, похолодев от напряжения, почувствовала, что больше, пожалуй, не выдержит, решила взглянуть на чудотворца, ожидая ответа. Но в нём не видно перемены. Так же спокойно, сурово и строго он смотрит вдаль, поверх её головы. Она пыталась прочесть в этом взоре знак одобрения, уловить намёк, обещание. Увы! Святитель, казалось, не замечал её присутствия в храме.

Так ли она молилась? Может быть, недостаточно? Передохнув, она удвоила усердие. Она просила, и крестилась, и кланялась, и падала на колени, и простиралась на земле. Она била себя кулаком в грудь, и кулачок её был твёрд, как камень. Она шептала ему слова жалкие и нежные и, обливаясь слезами, умоляла исполнить её молитву. По временам – с какой-то надеждой! – она вновь обращала свой взор на икону. Ей верилось: услышит! Вот-вот он выступит из рамы, окликнет её по имени, возьмёт её за руку и поведёт... куда? Туда, где решается вопрос о гимназии. А она побежала бы за ним, держась за его руку! Но безжизненна была икона, и здание гимназии колебалось, тускнело, отодвигалось, становилось всё меньше.

В страхе Варвара ещё удвоила жар своей молитвы. Она всем телом ударилась о каменный пол, обливаясь слезами. Сердце её горело. Но рама оставалась рамой, и в ней безучастно и неподвижно стоял святой. Она молила теперь

только дать бы ей маленький знак, что он её слышит, а остальное – она подождёт – потом. Лишь бы кивнул ей головой, шепнул одно только слово или бы просто взглянул на неё – она бы поняла. Но время шло, и знаков не было. Она надрывалась в слезах и молитве – и не было ответа. Лампада горела так же спокойно.

Святой стоял высоко, в золотой раме, в белоснежной ризе, со сверкающей серебром сединою, а она билась о пол перед ним – внизу, – босоногая, жалкая, маленькая. Казалось, невозможно связать их мысли, создать этот мост – от сердца к сердцу, вызвать к себе жалость.

Наконец, истощённая и обессиленная, она затихла. Она была в горестном недоумении, но не могла отказаться и от веры, и от надежды.

Умоляюще, тихонько она всё шептала ему о своей просьбе. Костлявою ручкой она застенчиво и нежно гладила его раму – выше она не могла достать. Она целовала пол под иконою, и голова её судорожно дёргалась от заглушённых рыданий. Серые круглые глаза роняли крупные слёзы, и она всё просила его и просила. Ответа не было.

Она уже не могла стоять ни на ногах, ни на коленях и в изнеможении села на пол под иконой. Она стала думать – и в голову ей пришла новая мысль.

В той церкви, как обычно, около некоторых икон к стенам были приставлены кружки, похожие на почтовые ящики и предназначенные для сбора пожертвований на неугаси-

мые лампы для иконы. Увидя кружку около рамы иконы святителя Николая, Варвара размышляла. Подобные ящики были у входов в богатые дома. Туда опускалась вся почта. Не был ли и тут такой же порядок: опускается прошение в ящик, и где-то кто-то получает его, рассматривает и решает, затем каким-то образом просившему посылается «извещение». Надежда поднялась и засияла в её сердце. Горячо поцеловав кружку и с жалкой, умоляющей улыбкой впиваясь глазами в лицо святителя Николая, она вынула из кармана своё прошение. Но отверстие в кружке было и узко и мало для её бумаги. Несколько раз сложив её, она стала старательно проталкивать в кружку. Тут её заметил церковный сторож.

Он услышал шум и наблюдал за ней уже несколько мгновений. Скептик, он не доверял проявлениям религиозности в детях. Высунув голову из боковой двери алтаря, вытянув шею, притаившись, он наблюдал за Варварой. Увидя, что она копошится у денежной кружки, он вскипел: девочка эта, должно быть, воровка. Возможно, монета, а то и ассигнация, застряла в узком отверстии кружки, и эта бродяжка пытается её достать с помощью какой-то бумажки! Он кинулся вперёд. Кричать в церкви – при зажжённых уже лампадах – не полагалось, он зашипел:

– Что, что ты делаешь? Признавайся!

Испуганная неожиданностью Варвара отпрянула от кружки. Злой старик не имел ничего общего с тем видением, о

каком она молила. Схватив её за плечо, сжав его костлявой рукой, он шипел:

– Ты – красть? Красть у Господа Бога?!

Когда она подняла к нему своё маленькое заплаканное лицо, судорожно дёргавшееся от испуга, сомнение на минуту встало в его душе. Но он был церковным сторожем, он не мог рисковать, уличным же детям нелишне получать острастку, к тому же девочка была очень испугана, значит, в чём-то виновата, – и потрясая её за плечо, он грозил:

– В тюрьму хочешь? На каторгу твоя кандидатура! Вот я позову полицию – и арестуют! Говори: чья ты?

На миг он разжал её плечо, и Варвара, пользуясь случаем, ринулась прочь. Стремглав вылетела она из собора. Размахивая горячей свечой, старик устремился за ней, подозревая, не успела ли она уже украсть, не зажато ли что в её кулачке.

Ушибаясь, она скатилась вниз по ступеням и побежала по улице. Только завернув за угол, она решилась передохнуть и оглянулась. Улица была пуста, скрыться было негде. Она побежала ещё и ещё оглянулась: погони не было. В изнеможении она упала на тротуар. Мысль её работала быстро: прошение было написано на к р а д е н о й бумаге, хотя она и отстригла заголовок. Но не она же крала бумагу – бумага была ей подарена.

Жгучее чувство обиды поднялось в ней. Горький яд заливал её сердце: она узнала одно из самых страшных духовных потрясений – обманутую веру и отвергнутую горячую

молитву. Так вот как! Как она молилась – и что получила! Тюрьма, каторга, полиция! Эти три слова имели вес там, где жила Варвара. Дети сызмала знали их смысл. И она едва не попала туда! За что?!

Её вера, надежда и энтузиазм обращались теперь против неё. Незабываемая минута рассекла её детскую душу: впредь Варвара уже не будет молиться.

Она села на край тротуара в изнеможении, подавленная своей горькой мыслью.

Наступал вечер. Приближалась та всегда печальная минута, когда скрывается солнце, символ, смутное напоминание живущим о их конце. Минута колеблется между светом и тьмою, разрывает звено и направляется к ночи.

Последний тающий луч на лиловеющем небе, казалось, шепчет:

– Прощай! Прощай, человек! Я покидаю тебя. Я буду здесь завтра – но увижу ль тебя? Ты смертен. Мне жаль тебя, человек!

Варвара смотрела на этот луч, и её вера в чудесное, перегорая, превращалась в холодный пепел. И она прощалась с чем-то, что смертно, чего не увидит больше. Всё её существо по временам содрогалось от огромной печали, от бессмертной грусти, ибо ей открывались те познания, которые умножают скорбь: незащищённость того, что есть лучшего в человеке. Она постигла глубину человеческого одиночества на земле, полное равнодушие к человеческому сердцу каких-то

высших сил природы, его беспомощность, если он робок и мал, всю заброшенность бедняка и его ребёнка. Иллюзии покидали её. Она поняла, что на этой земле помочь человеку может только другой человек, если он добр и этого захочет.

Вдруг плавный звук, глубокий и мощный, дрогнул и как бы замер на миг, а затем волною разлился, затопляя мир: была суббота, в соборе благовестили ко всенощной. Этот звук словно ударил Варвару. Она подскочила и побежала дальше. Но бежать она могла не долго, изнеможение заставило её остановиться, и скоро она снова сидела на деревянном тротуаре. Один палец на её левой ноге был разбит, из него сочилась кровь. «Ничего, заживёт как на собаке», – успокоила она себя обычной формулой детей своего круга. Там, где она жила, докторов призывали лишь в последний час, к умирающим.

А вечер был душист и нежен. Сумерки спускались тихо и медленно, грустно и ласково. Посреди мостовой, оживлённо чирикая, прыгало семейство воробьев, пристраиваясь поужинать у круглого комочка навоза. Кружась около него, они отщипывали клювами крошки. Птица больших размеров, очевидно, зловещая городская ворона, пролетела мимо, немного снизилась над стайкой, бросила взгляд на то, что они ели, и, презрительно гаркнув, хлопнула сильнее чёрными крыльями и пролетела мимо. Отпрянувшее в испуге воробьиное семейство снова весело и деловито закружилось вокруг своего ужина. Вдруг камень упал на их стайку. Они

взметнулись и взлетели маленьким испуганным облачком, оставив на мостовой одну раненую птичку.

Варвара вскочила. Оглянувшись, она увидела стоявшего неподалёку мальчишку. С довольным видом созерцая дело своих рук, он метил уже другим камнем в раненую птичку.

– Стой! – крикнула Варвара, подбегая к нему и хватая его за рукав. – Зачем ты убил птичку?

– А ты кто – полицейский? – огрызнулся мальчишка.

– Зачем ты это сделал?

– Не знаешь? Значит, ты дура. Этих птиц надо бить!

– За что?

– Не знаешь? Дура необразованная. Они – грешные птицы.

– Грешные? Ведь они не люди, птицы!

– Когда Христа распинали, кто подавал жидам гвозди? Они в клювах подавали гвозди!

Варвара смутно знала о событиях: распятым Христом в её околотке клялись и также попрекали евреев. Но она быстро сообразила:

– Да это не те же самые птицы!

– Ихнее отродье, всё равно. Их надо бить.

– Те гвозди были большие. Это – маленькие птички.

– Всё равно, они подавали. Так написано в книгах: воробы подавали гвозди.

– Но то было очень давно, – снова нашлась Варвара, – то было в другом месте, не в нашем городе.

– Ну, то, значит, были их предки, – решительно сказал на минуту растерявшийся обидчик, – и это всё равно: их надо бить. – И, швырнув ещё один камень, теперь уже в Варвару, он, нарочно небрежно переваливаясь с ноги на ногу (так, он слышал, ходят моряки), пошёл прочь.

– Кто Бога любит, тот бьёт Его врагов! – кинул он ещё фразу, уже поворачивая за угол.

Варвара знала этого мальчишку. Сын богатого бакалейного торговца и владельца ломбарда в их пригороде, он стоял на самом верху местной социальной лестницы. Его отец дружил с полицией. На этом лоскутке земного шара не было возможности бороться с ним, обвинить и наказать его.

Она кинулась к раненой птичке. Воробышек умирал. Капля крови густела на его голове. Маленькие, уже полузакрытые глаза туманились в преддверии смерти, словно стараясь не видеть её образа. Жизнь таяла в крошечном тельце, и оно казалось Варваре символом незащитности слабого против могущества зла. Острая, нестерпимая боль пронзила её сердце. Жалость кипящей волной хлынула по всему её телу, сжигая навеки нечто во всём её духовном существе. Она нагнулась над птичкой, и ей казалось, она умирает вместе с нею, и с ними двумя страдает и умирает весь мир обиженных и незащитных существ – всё то, что слабо, кротко и мило, что не умеет поднять ответного камня и кинуть в обидчика, всё, что живёт краткую жизнь перед лицом насилия.

Она нагнулась пониже и, осторожно взяв птичку, держала

её на своей раскрытой ладони. Крошечные пёрышки, ослабевающая на своих основаниях, мёртво обвисали вокруг холодного тельца. Крошечки пищи, последней трапезы, держались ещё у клюва, прильнув к нему.

Глазами, полными тихих слёз, смотрела Варвара на умирающее в муках существо и, желая вернуть его к жизни, тихонько дышала на него. Её дыхание подымало на миг миниатюрные серые пёрышки, но они затем опускались снова. Боясь, что слеза, упав на птичку, причинит ей боль, Варвара отвернула лицо в сторону. Мысль её заработала быстро. В душе её было теперь единственное, но жгучее желание: вернуть птичку к жизни. На вытянутой ладони своей она видела уже не птичку: там была смерть. Гигантская и непобедимая, она смотрела оттуда на Варвару, оскалив зубы. Содрогаясь, Варвара постигла её истинное лицо.

– Дыши, – шептала она птичке, – дыши! Хотя немного, но поживи ещё...

Но уж и крошка пищи отпала от клюва. И всё же Варвара не сдавалась: ей пришла в голову ещё одна мысль, и, с вытянутой ладонью, она побежала по улице.

Уже не один, а целый хор колоколов звучал с колокольной собора, и звуки эти как бы подгоняли Варвару. Она знала, что неподалёку живёт доктор, и бежала к нему. Но был неподходящий для приёма час. На продолжительный звонок не открывались двери. Наконец дверь быстро распахнулась: на пороге стояла дочь доктора, та самая барышня, что утром

каталась с учителем в лодке. Она, видимо, завивала волосы горячими щипцами и, полупричёсанная, вопросительно выглянула за дверь.

Увидев босоногую девочку с птичкой на ладони, она вмиг поняла, в чём дело. Презирая сентиментальность, она даже вздрогнула от негодования и вскипела непомерной к случаю злобой.

– Пошла вон! – крикнула барышня. – И ты ещё смеешь звонить! В полицию тебя за наглость! Хочешь в полицию?! – И она с треском захлопнула дверь.

Варвара отпрянула, словно дверь её ударила наотмашь. Она стиснула зубы, но не заплакала. Было всё равно: птичка на её ладони была мертва.

Глава IV

Не поразительна ли эта детская способность создавать для себя мучительные тайны и, не делясь ни с кем, одиноко терзаться ими? Варвара и словом не обмолвилась матери о потрясениях дня. Она, как в этом случае поступают дети, начала «строить» на фундаменте опыта.

Этот день разрушил в ней детскую веру в возможность чудесного, и он же обнаружил перед нею скрытую от глаз глубину ничем не оправданной человеческой злобы. Нечто в ней самой стало твёрже и жёстче – она по-иному замышляла свой план о гимназии.

Рано утром во вторник она стояла на тротуаре, созерцая величественное здание женской гимназии. Дом, длинный и белый, в два этажа, был увенчан вывеской, золотыми буквами осведомлявшей: «Женская гимназия». Вновь и вновь читала Варвара и перечитывала эти два магических слова, и сердце её то подымалось, то падало. «Женская гимназия!» Она пересчитывала окна: в первом этаже – восемнадцать, во втором – двадцать, лишние два – над входной дверью. Всего окон – тридцать восемь. Казалось, и окна смотрели на Варвару сверху вниз, насмешливо и надменно, шепча: «для благородных девиц». Класс «благородства» в околотке, где жили Бублики, начинался от полицейского («Ваше благородие!»), и это вызывало привкус опасения и беспомощности в её ма-

леньком сердце. Ничего больше не выдавали окна из их секретов, хотя они и не были завешены шторами. Только что вымытые к началу учебного года, они сияли отражённым солнечным светом, насмешливо и пусто, а между тем внутри здания уже происходило что-то: оттуда доносились неясные шумы и звуки – там готовились к чему-то.

Это был первый день учебного года: молебн. Начинали уже собираться девочки, их родители, преподаватели, классные дамы. В прелестной парадной форме, сияя белизной фартучков, воротничков и манжет, приветствуя друг друга, перекликаясь, смеясь, девочки легко взбегали по ступенькам и исчезали в гимназии. Их сопровождали родственники и гувернантки.

Кое-кто подъехал в экипаже, и их появление вызывало всеобщее внимание: это была аристократия старого города или его богачи. Элегантный экипаж легко подкатывал к подъезду. Подковы лошадей выбивали искры из камней мостовой. Кучер на лету ловко останавливал экипаж, живописным движением руки подтянув вожжи. Швейцар распахивал дверь и стоял, кланяясь низко. Милая девочка – причина всего этого – возникала из глубины экипажа, оживлённая и радостная, как ангел. Гувернантка, мать или родственница, кружась около неё, расправляла воротничок или бантик в косе, и затем торжественным шествием они подымались по ступеням и исчезали в гимназии.

Учительский персонал, как менее состоятельный класс,

подходил пешком, вежливо приветствуемый со всех сторон. Дьякон, златовласый и сладкогласный отец Анатолий, шёл для сослужения в молебне медленно-медленно, давая возможность всем полюбоваться собой. Он сиял новою светло-коричневой люстриновой рясой. За ним, на расстоянии, стараясь быть им незамеченной, ныряя в толпе или возникая из неё, следовала его жена. Напрасная предосторожность: дьякон принадлежал к тому типу людей, кто не оглядывается назад. Она же не была приглашена на молебен, к удовольствию мужа, так как он давно начал стесняться своей «необразованной» и слишком уж простой жены. Питая в душе подозрение, что письма в светло-голубых конвертах посылаются дьякону некоей классной дамой, она искала случай увидеть их вместе, при встрече, и по тону приветствий умозаключить «что и как». Прошёл торжественно священник гимназии; суетливо прошмыгнул, не вызывая ничьего внимания, регент гимназического хора.

И как бы венчая съезд, заключая его торжественным аккордом, вдали появилось ландо, влекомое парой лёгких, скаковых коней. Они были светло-серые, с белоснежными гривами.

– Головины! Головины! – разнеслись восклицания и шёпот. – Это едут Головины!

Ландо катило к подъезду. Над ним колыхались прелестные зонтики, два «взрослых» и один кружевной, маленький. «Мы опоздали!» – прозвенел из его глубины серебряный

голос. «Нас подождут! – уверяла гувернантка по-французски. – Они не начнут молебна без нас!»

– Головины! Головины!

В восклицаниях слышалось многое: восхищение, лесть, уважение, зависть. Головины – самая старая, самая аристократическая и знатная семья в городе, которой исполнилась тысяча лет.

Девочка возникла из ландо незабываемо прелестным видом: хрупкая, прозрачная, нежная, точно только что сделанная из драгоценного фарфора. Грациозно подпрыгивая, торопясь, она взбегала по лестнице.

Для Головиных дверь гимназии распахнулась во всю ширину. Швейцар, согнувшись вдвое, сбежал вниз по ступенькам – взять дамские зонтики. Мать и тётка медленно проследовали, ответив приветствием на поклон швейцара, за ними пронеслась француженка, спотыкаясь и за всё цепляясь, потрясая целым лесом страусовых перьев на шляпе, мешавших ей видеть.

– Мила забыла носовой платочек! – восклицала она на каждой ступеньке.

Девочку звали Милой. Она поступала в приготовительный класс гимназии.

Последним прошёл учитель классических языков и чистописания, тот, что цитировал Гераклита барышне в лодке. Поражённый неудачей в любви, он решил запить и уже начал приводить эту мысль в исполнение.

Потрясённая всем виденным, стояла Варвара на противоположном тротуаре, поглощая жадно все детали события.

Внутри здания раздался громкий звонок. Закрылась парадная дверь, открылось несколько окон. Поднялся волною и вдруг затих гул голосов.

– Благословен Бог наш!.. – начался молебен.

Улица перед гимназией была пуста. Экипажи выравнялись за углом, где кучера были заняты своим разговором. Осторожно оглянувшись и увидя, что не замечается никем, босоногая Варвара, осторожно, на цыпочках, перешла улицу, подкрадываясь к гимназии. Осмелев, она вступила и на тротуар, застыв наконец у самой стены здания. Окна были высоко. Она не могла видеть происходившего внутри, но слышала пение хора, возгласы священника, его краткую проповедь и тёплые приветствия и детям, и родителям, и учителям. Затем наступила мёртвая тишина, и после длительной паузы раздался громкий, холодный и размеренный женский голос. Говорила начальница гимназии. Речь её была торжественна, властна и спокойна. Она приветствовала свою аудиторию с началом учебного года, затем, подняв голос несколько выше, заговорила – по ежегодной традиции – о гражданском значении просвещения вообще и для девочек в частности.

– Любовь к человечеству! Благородство духа! Служение идеалу! Вековые традиции! – Слова эти доносились до слуха Варвары, но следовавшие за ними произносились тише, и к

этим подлежащим она не слыхала сказуемых.

– Любить человечество! – услышала Варвара приказ, и глаза её широко раскрылись: она ещё не знала, что человечество должно любить.

– Живите для бедных, для обиженных, для больных, для униженных – вот путь, указанный вам и церковью и наукой.

Варвара мало слыхала о любви, но сердцем хорошо понимала значение слова. Она знала, что она – до некоторой степени – человек, но ей было неясно, является ли она также и человечеством, которое должно любить. Она знала, что она бедна, часто была и обижена. Слово «униженных» она не совсем понимала, но догадывалась о смысле. Речь, долетевшая к ней из гимназии, подымала в ней смутную надежду. А голос продолжал:

– Не проходите мимо! Протяните руку любви и помощи – и в мире не будет несчастных!

– Протяните руку! – шептала Варвара. – Протяните руку – и не будет несчастных! – повторяла она, и у неё захватывало дыхание от волнения.

Загипнотизированная словами, как будто притягиваемая магнитом, она всё более прижималась к стене.

– Культивируйте любовь к человечеству! – закончил голос, и после минутной паузы раздался гром аплодисментов.

Испуганная, отрезвлённая Варвара отпрянула от стены и, перемахнув улицу, спряталась за углом. Она не знала об аплодисментах и где и почему они существуют. А последняя

фраза всё звенела в её мозгу. «Культивируйте» – какое слово! Не было возможности угадать его смысл.

Между тем публика начала расходиться. Ручейками выкатывались девочки, прощаясь: «До завтра! До завтра!»

Умчались экипажи, умолкла и опустела улица, а Варвара всё стояла за углом. Выглянув, она видела: швейцар запер двери. Кто-то проходил по зданию, закрывая окна. Когда уже совсем всё затихло, она вышла из засады и ещё раз подошла к гимназии. Она не решалась вступить на ступеньку, но молча испытующе оглядывала фасад, пересчитала окна, по очереди останавливая задумчивый взгляд на каждом, ладонью погладила стену, что-то пошептала про себя и тихо направилась домой.

Она пришла и на следующее утро. Там же, из-за угла она наблюдала ту же картину. Улица звенела радостными головами и дышала оживлённо и весело. Но это был уже учебный день, и девочки были в чёрных передниках, с книжками в руках или в сумках.

Книги! Каждая – маленький храм с его тайной. Варвара никогда не имела и одной собственной книги. Она не бывала и в книжных магазинах, туда ей не случалось никаких поручений. Она могла их видеть только через стекло витрины; она могла к ним прикоснуться, лишь попросив «подержать» учебник у кого-либо из учащихся в её околоте. Увидя книгу, она трепетала от благоговения. Её охватывала дрожь: там было скрыто чудесное. В них было всё то, чего Варвара не

знала и так жадно стремилась узнать.

Так она стояла за углом, то показываясь, то прячась, отпрянув к стене, если кто-либо из учениц проходил мимо. Оживлённые, они не замечали Варвары, она же жадно ловила их слова налету, запоминая навеки. «Сентянина провалила переэкзаменовку. Так ей и надо. Она, в общем, ужасная дура». – «У нас по алгебре будет Петр Никодимович. Душка! Заранее объявляю – люблю! Не потерплю соперниц!» – «Три с минусом – переводной балл». – «Мама ездила в Карлсбад». – «Если нынче перейду с наградой, папочка мне купит браслетку». – «Клянись, ты никому не скажешь».

Варвара пришла и стояла на своём посту и на следующее утро, и снова – на следующее.

В ней всё росло пламенное желание стать одной из этих девочек-гимназисток. Так же быть одетой и идти утром с книгами. Войти вот в ту дверь – и учиться, учиться! В гимназии, видимо, таилось много радости, потому и были все эти девочки так нарядны, оживлённы и счастливы. Она приняла страшное решение. Несколько раз она направлялась к зданию гимназии, но, сделав несколько шагов, пугалась собственной храбрости и бежала обратно, отдышаться, за угол. Но смутный гул, доносившийся из школы, притягивал и гипнотизировал её. И наконец она решилась.

Она вышла из-за угла и твёрдой походкой, не допуская уже себя до колебаний, пересекла улицу. Она так же решительно взошла по ступеням и, навалясь всем телом, с трудом

открыла парадную дверь. Перед нею – огромный пустой зал, а за ним, видные через две открытые двери, два длинных коридора, каждый в глубине заканчивался лестницей. В коридорах – ряд закрытых дверей, над ними – надписи в рамках. Из-за наглухо закрытых дверей доносился неясный гул голосов, но отдельных слов разобрать невозможно.

Сделав мощное усилие над собою, Варвара вошла в ближайший коридор. Там полутемно. Она увидела табличку – «Младший приготовительный класс» – и с трудом разобрала надпись.

– Младший, – ещё раз прошептала Варвара, это было знакомое слово, – приготовительный, – произнесла она почти вслух, упиваясь длинным, но понятным ей словом. Должно быть, тут.

Полузакрыв глаза, словно боясь быть ослеплённой внезапным светом, она рукой рванула дверь – и остановилась на пороге.

Перед нею открылась большая светлая комната. За партами (Варвара никогда ещё не видала школьной парты) сидели девочки. У большой чёрной доски учитель мелом выводит знакомые ей буквы, но какой они у него необыкновенной, благородной красоты!

Посетители, как правило, не допускались в гимназию в учебные часы, исключение делалось лишь для высокого начальства, и такое лицо входило в класс в сопровождении самой начальницы гимназии. Подобное посещение являлось

событием большой важности. Всякое иное бесправное посещение во время урока равнялось почти преступлению.

Появление Варвары, в раме шумно распахнутой двери, произвело сенсацию. Все лица обернулись к ней. Учитель застыл с поднятой вверх рукой, державшей столбик мела.

Но это всеобщее изумление лишь удвоило отчаянное мужество Варвары: она стояла на краю головокружительной пропасти. Набрав воздух в лёгкие, она крикнула с силою, громко:

– Я хочу учиться в гимназии!

Изумление и тишина словно углубились в классе. В них было изумление, переходившее во враждебность: чуждый элемент вторгнулся в гармоническое целое. Чувствуя это и как бы бросаясь в пропасть, головою вниз, рискуя жизнью, Варвара подошла к учителю и воскликнула:

– Ваше высокоблагородие! Прошу покорнейше, по слабости денежных средств – учите меня даром!

Видя его изумлённое лицо, боясь, что всему конец, она поторопилась добавить:

– Я очень умная! Я тут буду умнее всех!

Такое заявление – во всеуслышание – в стенах гимназии являлось неслыханной дерзостью: скромность являлась необходимым качеством гимназистки; на этом настаивали, это воспитывали в семье и школе. Было просто невообразимо, чтобы кто-либо из этих девочек в классе мог крикнуть в лицо учителю: «Я очень умная!»

Как это иногда бывает с детьми, напряжение разразилось громким, гомерическим, неудержимым смехом. Девочки смеялись, захлёбываясь, до слёз, корчась от приступов смеха. Именно там, где очень строга дисциплина, в момент, когда она нарушена, могут так смеяться дети.

Варвара стояла, и этот смех как бурный ливень хлестал её и обливал со всех сторон. В нём главным мотивом была насмешка над нею.

Но Варвара знала, что она очень умна. Ей часто повторяли это в лицо. В этом не сомневался весь околотов, где она жила, вся их улица, все лавочники, где она покупала что-либо, все, кому она разносила бельё, и все, кому случалось с нею разговаривать. В тех сферах давно было решено: Варвара – самая умная девочка.

Кипящий гнев подымался в ней. Этот смех посягал, отнимал у неё единственное качество, на котором она строила свои надежды. Гневно взглянув в лицо учителя, она вдруг узнала в нём того, кто катался с барышней в лодке и чьи, ей непонятные слова она запомнила. Стремясь теперь доказать ему, что она умна, она крикнула:

– Панта рей! «Всё течет» – так сказал греческий философ Гераклит, – и топнула босой ногой.

Учитель в изумлении отступил на шаг. Он, конечно, не заметил и не мог помнить Варвару. Её слова воскресили перед ним мучительную сцену, картину несчастного дня. Произнесённые странной оборванной девочкой, они словно уда-

рили его.

– Кто вы? – спросил он, вздрогнув.

Тут изумилась уже Варвара:

– Кто я?! Я – девочка.

– Ваше имя?

– Варвара.

– А фамилия? Имя и фамилия отца?

– У меня нет отца, – ответила Варвара, и её вдруг охватила тревога: «А без отца можно учиться в гимназии? Принимают?»

– Это не имеет непосредственного отношения к гимназии, – наставительно начал учитель, – но поскольку семья всегда состоит прежде всего из отца, потом матери, затем детей...

– Ну-ну! – перебила его Варвара. – Совсем не так. Много есть детей, у которых и не было отца. А семья состоит из матери и детей, да ещё родственников, которые тут же живут, потому что им негде больше жить. – И передохнув, заявила твёрдо: – У меня есть мать.

– Это частный случай, – продолжал учитель наставительно, – но глава семьи – отец. Он добывает средства и кормит...

– Он? – изумилась Варвара. – Да отец больше пьяница, а то без работы или лежит в больнице. Нет, мать кормит детей, от младенчества... У меня есть мать.

– Где вы живёте? – спросил учитель, желая переменить тему.

– Где? – опять изумилась Варвара наивности вопроса. – Мы живём в доме.

– Я хочу спросить, как ваш адрес.

– У нас нет адресов. Просто дом.

– Вы не поняли вопроса. «Адрес» – значит, название улицы и номер дома.

И снова она была удивлена: он не знал, что в посёлке под холмом не было улиц, дома стояли то вкучку, то вразброску, оставляя пустыми наиболее болотистые места. Не было, конечно, и номеров.

– У нас в Нахаловке нету улиц, улицы в городе. А номер – скажите какой, я могу написать.

– Какая профессия вашей матери?

– Что моей матери? – не поняла Варвара.

– Какую работу она выполняет за деньги?

Поняв вопрос и желая ещё раз блеснуть цитатой, Варвара ответила:

– Она стирает грязное белье других людей и полощет его в прекрасной реке, в том прекрасном мире, где все мы живём!

Новый взрыв смеха всколыхнул комнату. Варвара покраснела от обиды и досады. Но учитель был уже заинтригован девочкой.

– Скажите, если бы кто-либо, например я, решил послать вам извещение, ответ на вашу просьбу, о поступлении в гимназию, то как вас найти?

Сердце Варвары стукнуло. Она стояла у цели. Она каса-

лась возможности.

– У нас все знают друг друга, – сказала она, задыхаясь от волнения. – Спросите, кто тут вдова Бублик. Покажут.

И, полная надежды и страха, она в пояс поклонилась учителю и сказала:

– Ваше высокоблагородие, окажите Божескую милость, примите меня в гимназию, заставьте век Бога молить...

Громкий смех прервал и покрыл её слова. Девочки смеялись над нею, над её самым дорогим, самым горячим желанием. Полная гнева, она хотела ещё раз показать свой ум, свою память, своё моральное право на учение. И, разделяя трудное, непонятное ей слово на слоги, она крикнула им:

– Куль-ти-ви-руй-те любовь к человечеству!

Но смех был ответом на её слова, и теперь даже учитель, уронив мел, заколыхался от смеха.

Глава V

Головины, несомненно, были самым счастливым семейством во всей губернии. Они имели всё, что ещё древние философы считали необходимым для земного счастья: здоровье, доброе имя, телесную красоту, духовное равновесие, душевный покой. Они также были очень богаты, из поколения в поколение занимали высокое положение в обществе и вели счастливую семейную жизнь. В них отсутствовали те пороки и стремления, которые способны угасить счастье и отравить сердца: зависть, ревность, честолюбие, азарт, искаительство и гнев. Они не гнались ни за кем и ни за чем. Нужны были столетия жизни в достатке и покое, чтоб образовать их характер – эту спокойную уверенность в жизни, в собственном ненарушимом благополучии, в праве пользоваться им без сомнений и вопросов, в умении и привычке невозмутимо наслаждаться настоящим и не искать перемен.

Во всём у них была своя счастливая мера. Не увлекаясь возможными карьерами, увеличением богатств, не погружаясь глубоко в интеллектуальные или социальные идеи и движения века, она вели сердечную и тёплую жизнь, выполняя спокойно то, что являлось непосредственным долгом, и умирали в мире, без мучений совести и страха. Никого из Головиных не занимало, что о них могут подумать или сказать другие. Они следовали требованиям своей семейной, тради-

ционно головинской морали – это уже свято и неуклонно, – а что делают и как думают другие, предоставляли этим другим.

Была, однако же, и теневая сторона в этом счастье: они всё отходили, всё отдалялись от реальности жизни – давно, поколениями, – и теперь прекрасная жизнь в их прекрасном имении «Улада» не была тесно связана ни с чем в их отечестве, ни к чему не прикреплялась кровной связью единого живого организма. Они были сами по себе и довольствовались этим.

Мила, восьмилетняя девочка, единственная дочь, являлась маленьким горячим солнцем головинской вселенной. Отец, мать, двое братьев и тётя Анна Валериановна не поверили бы, что где-то могла существовать девочка лучше.

В их доме не знали суровой строгости. В нём царил веселье. Родители никогда не наказывали детей. Дети не обижали и не дразнили друг друга. Никто ни с кем не ссорился, никто никому не навязывал своей воли или капризов. Сoglасная свобода царила в доме: всем было хорошо и весело. Казалось, все – и родители, и дети – были одного возраста, так мало разнилась их психология и так много было у них общих интересов.

Генерал и его сыновья читали Конан Дойла по-английски, обсуждали летописи и «Историю» Карамзина. И Мила, и её мама одинаково волновались, готовясь к Рождеству и к ёлке. Мужчины любили охоту, играли в шахматы, выписыва-

ли журналы из Европы; женщины играли на пианино, любили стихи, хорошо одевались, поддерживали красоту и порядок домашней жизни, в старости часто ходили в церковь. И, странно, Головины уже не размножались, скорей вымирали, и у этой семьи уже не было близких родственников.

Тётя Анна Валериановна представляла собою на первый взгляд труднообъяснимое видоизменение головинского типа. Она не вышла замуж. Как все богатые, красивые, здоровые женщины, не вышедшие замуж, она, казалось, хранила какую-то тайну. Везде и всегда она была сдержанна более, чем того требовали обстоятельства. Немногословная вообще, она никогда не говорила о себе и всегда держалась чуть поодаль от оживлённой головинской семейной группы. Высокая, стройная, в каждом движении и слове исполненная благородства, она напоминала детям Головиным знакомую по хрестоматии лермонтовскую пальму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.